



Александр ДОМРАЧЕВ

РАССКАЖИ МНЕ, ЧОНКА...

(Деревенские истории)

Шумит речка Чонка... Сколько веков шумит и откуда взялась – никто не знает. Норовистая – не дай Бог! Коль до деревни добрались отроги Салаирского кряжа, знать, и речка оттуда, с гор. Непредсказуемая. То катится ровным шлейфом вдоль лугов, то запорожит, вспенится, перекачивая каменистую мелочь и отшлифовывая до блеска огромные валуны. То совсем в ручеек превращается – воробью по колено.

А по весне можно ждать беды. И откуда что берется: кажется, еще чуток поднимется Чонка – и унесет с собой всю деревню. В общем, своенравная речка, с характером. Но – памятливая. И разговорчивая. Рада любому собеседнику: рыбаку ли, добывающему из нее пескарей да окуньков, ребятишкам, спасающимся от летнего зноя в неглубокой прибрежной воде, или просто бродяге, невесть как оказавшемуся на ее берегах.

Вот и я лет тридцать назад напросился ей в собеседники. Из-за нее и домик в деревне, тоже по имени Чонка, приглядел, давно сдружился с деревенскими жителями. Кажется иногда – родился здесь. И каждое лето приезжаю поговорить с

подругой. А она и рада мне поведать, что в деревне за долгую зиму приключилось. Сажусь на камень под раскидистой ивой, закуриваю и – слушаю...

Впрочем, речка-то – вроде местного радио, сообщает только последние известия: кто родился, кто помер за зиму, кто в город уехал, а кто в тюрьму сел. А что до этого было, я и сам знаю.

I

Из лета в лето на моих соседях – одни и те же наряды. Пожалуй, и не припомню, когда я их в других видывал. Егор – в сереньком пиджачке без подклада, в брюках, давно забывших, что такое стирка, да в калошах с удлинненным верхом, в кои обувалась летом практически вся деревня. В общем-то, весьма удобная обувка: и, за скотиной ухаживая, навоз топтать, и в огороде землю месить. Помыл потом – и опять как новые. А еще – в любую погоду Егор не снимал с головы кепки. Но за стол садился без нее. И тогда был виден резкий контраст: вечно загорелое лицо с черной щетиной, да белая полоска на лбу, всегда закрытая от солнца козырьком. Егор сухой с виду, но

Домрачев Александр Павлович. Родился 60 лет назад, в августе 1951 года. До 17 лет учился, потом устроился слесарем на завод. Через три года резко сменил профессию – стал корреспондентом многотиражной газеты, где до этого публиковал свои стихи и небольшие рассказы. Потом прошел хорошую школу в литературных объединениях, которыми, последовательно, руководили: Илья Фoniaков, Александр Плитченко, Виталий Коржев. Участвовал в областных литературных семинарах. Стихи и рассказы звучали по областному радио, печатались в газетах. Потом 30 лет писал в стол, для себя. Среди последнего из написанного – «Деревенские рассказы».

жилистый. Иной раз такой груз на свои плечи в одиночку взваливает – городским и вдвоем не управиться.

Катерина, помню, лет десять еще назад за собой следила. Когда мы приезжали в деревню, всегда что-то свеженькое надевала. А последние годы была под стать Егору: такие же калоши, задрипанная кофточка да виды выдавший платок. Но веселость и гостеприимность оставались прежними:

– О, бляха-муха, нарисовались! А мы ждем-пождем – нетути. Ну, я за молочком, за свеженьким. Вечерком уж поговорим...

Егор слух потерял, когда уже двое детей народилось. Почетная профессия в селе – тракторист, всегда нарасхват. Ну, в колхозе понятное дело – куда послали, туда и поехал, не спрашивая – почему. А частным-то образом... Кому вспахать, кому дровишек привезти, кому еще какая надобность. Словом, не простаивал. Платили – кто чем мог: деньгами, комбикормом, но чаще – самогоном. Вот на нем и погорел.

Жара была. Вспахал огород соседу. Тут же приняла на грудь по стаканчику, закусили чуток, покурили. И поехал Егор трактор отгонять. Что и как получилось потом, никто не видел. Трактором его и придавило к амбару. То ли на тормоз не поставил, то ли еще какая причина, только трактор под уклончик сам пошел, да и даванул хозяина. Боль, как он потом рассказывал, была адская. Кричал дико и, видимо, долго. Хорошо – услышали. Но когда подбежали, он уже хрипел.

Скоренько доставили в больницу. Там и собрали раздавленные косточки. А он, когда очнулся, никак понять не мог, отчетливо люди в рыб превратились: рот открывают, а сказать ничего не могут. Потом дошло: сам ничего не слышит. Оказалось – навсегда. Как сказали врачи, может, от собственного истошного крика барабанные перепонки и лопнули.

Долго не мог Егор привыкнуть к гробовой тишине, несколько раз порывался было и сам в гробу оказаться, да про детей помнил: поднимать надо. Понимал и другое: жене его, Катерине, управляться с детьми да с хозяйством тяжело будет. А ведь еще и в колхозе, где она работала ветеринаром, дел тоже было невпроворот. Только крупнорогатого скота, говоря казенным языком, до тыщи голов было. Так что порой с утра до ночи и глаз домой не показывала. А ребяшня, Ванька да Танька, уже в школу пошли и внимания побольше требовали. Хорошо еще теща – баба Лена, как ее называли до-

машние и соседи – всегда при доме. За скотиной да за птицей с пяти утра топчет-ся по двору и дома харч какой-никакой приготовит. В общем, выкручивались...

А Егор, когда совсем встал на ноги, на конюшню пристроился. Да так дело полюбил, что без коней себя уже и не мыслил. И какие были кони! Они ж на всю область славились! Рысаки – высшей породы. На городском ипподроме гремели так, что на всю страну было слышно. Для тех, правда, кто в этом толк понимал. Ведь подойдешь к коню – и нужно скамейку ставить, чтобы потрелать его за ушами: сильный, стройный, рысистый... А какие были тяжеловозы! Казалось, запряги их цугом – всю деревню за собой потащат.

Егор любил всех: и тех, кто на ипподроме медали зарабатывал, и тех, кто безропотно работал по сельскому хозяйству. Вот они, кони, понимали: если тебя кормят – надо работать. В шесть утра Егор, даже чаю не испив, бежал на другой конец деревни, чтобы задать своим подопечным свежего корма. Они тянули к нему влажные губы, добродушно пофыркивая, а он вел с ними неспешные разговоры. И более внимательных слушателей не встречал.

Годы спустя, когда прокатилась по стране перестройка, появился в деревне пришлый человек с большими деньгами и скупил всю конеферму, обещая людям и работу, и златые горы. Внешне – так, замухрышка. Хотя и с Кавказа, но не джигит. Зато языком работал под Чубайса, обещавшего всю страну обеспечить личными «Волгами». И где те «Волги», и где та страна?! Но это – вопрос риторический. А вот куда делись кони с элитной фермы – до сих пор никто не знает. Да и кто докапываться будет?! Ведь милиция с лопатами не дружит... А деревенским не под криминал, а под картошку копать надо...

В общем, осталось в конюшне три хилых жеребца да одна кобыла на сносях. Невесть кого родить должна: то ли богатыря, то ли клячу. Впрочем, Егору это было уже не важно. Его самого загнали – то ли новые «фермеры», то ли прежние колхозные хозяева, которые каким-то боком остались во главе разрушенной деревни. А в итоге – ни коней, ни денег.

И Егор опять сорвался. Почти каждый вечер либо Катерина, либо ребятишки притаскивали его домой в совершенно непотребном виде – грязного, часто мокрого, от мочевого неудержу. Укладывали на топчан в сенях и оставляли до утра. Это – когда тепло на дворе. А зимой бросали на кухне прямо у дверей какие-то

тряпки и укладывали на них Егора кулем. Чисто собачка, которую дальше порога не пускают. Бывало, просыпаясь середь ночи, он начинал скандалить.

– А-а, мля, справились... Е-п-р-с-т. Прибью всех.

– Вот оглоед, – тут же подавала голос Катерина, – никакого покоя. И как тебя земля носит, окаянный! Навязался на нашу голову, пень глухой.

Утром Егор с разбитой головой сползся по двору, пытаясь что-то делать по хозяйству, хотя из рук все валилось. Он не слышал ни надрывного поросычьего визга, ни гогота гусей, ни бляенья овец. Зато догадывался, что в его адрес говорит жена – он давно уже научился понимать людскую речь по губам. Потопчетса по двору, задаст корма – и через огороды слиняет в поисках похмеля. Восстановится – тогда и за работу берется. Все-рьез берется, навыки-то не растерял. Но – до вечера. А там опять – то яма, то канава.

Приезжаю летом – ничего не меняется. У Егора и Катерины одна и та же песня – про жизнь деревенскую, бестолковую. Я уже давно эту песню выучил и лишь подпеваю им после рюмки-другой, привезенной в качестве угощения цивилизной водочки. Егор крикает одобрительно:

– О-о, мля, хорошо пошла. Дажить и не обжигает.

– Да ты закусувай, – говорю, – опять ведь свалишься.

– А-а-а, – машет он рукой, – чаю давай.

Вот так закусит сигаретой да чаем запьет – и опять по хозяйству топчетса. Но, бывало, и для отдыха время находил. Иной раз подъедет на старой кляче, что ему всучили при увольнении в качестве отступного на конеферме, и приглашает на рыбалку. Рыбак из него, правда, никудышный. Он здесь больше теорией владеет. Наслушается других, удачливых, а потом преподносит – как свое: где удить, чем, на какую наживку. Слушаю, киваю, но делаю все по-своему. А кому повезет – неведомо. Нашел омукот – будет рыба. А нет – пескана на быстринке всегда выудить можно. А с него – и уха навариста, и жаренка в муке – объединение.

Помню, рыбачили мы с Егором как-то по осени, где-то в конце сентября уже.

– Седня клев будет – обалдеешь. Я-то знаю, – говорит Егор. – Поедем на Елбаш – там хариус.

– Какой хариус, – говорю, – Елбаш это ж не река – рукомойник.

– О-о, мля, я-то знаю... Спорит еще... Поехали... Верст пять на кляче через

траву в два раза выше человеческого роста пробирались. Егор местечко присмотрел. Закинули удочки, просидели полчаса – ни хрена.

– Поехали на Чонку, – говорю, – хоть на ушицу наловим.

И поехали. Километров через пять наткнулись на чудный омукот. Наживили червячков и бросили их рыбкам на пропитание. У меня клев пошел отменный. Уже с десятков песканов поймал, а Егор все бродит по берегу и ворчит:

– Ну его на хрен, не клюет здесь. Дальше пройдуся.

И исчез... А у меня, как при игре в карты говорят, масть пошла. На одного червяка штук по семь песканов тяну. И все – как калиброванные, в ладонь. Будто по заказу. Наживка, что Егор оставил, кончилась, а его и не видно. И почти не отсыпал себе червей побольше?! Ковырнул под ракистой – нашел двух полудохлых червячков. Ну, блин, думаю, куда Егор-то подевался? И ведь не кликнешь! Только подумал – вот он. Выползает из кустов – весь мокрый.

– Ты чего, – спрашиваю, – купался, что ли?

– О-о, мля, чуть не утонул. Берег крутой, в траве обрыв не заметил и скатился в омут. Цепляюся за траву, а она обрывается. Ну, все, мля, думаю, хана. Тут ракистка и подвернулась. Едва выбрался.

– А чего ж не кричал, – спрашиваю, – ведь два шага от меня был?!

Егор чуть весь на мат ни изошел:

– Е-п-р-с-т... Ведь это ж я глухой!..

И потом, когда я согрел его соточкой, уже весело и почти без мата все повторял:

– Не, Сашь, пень я глухой, ведь утонуть мог – плавать-то не умею. Хоть и прожил всю жизнь в деревне.

И то ли озноб его колотил, то ли водочка выиграла, то ли истерика достала. Но когда кляча дотащила нас до деревни, Егор попросил:

– Сашь, купи поллитра, выпьем за еще один мой день рождения. Вот видишь, сколько раз старуха косою мне грозила...

Я не стал возражать. Ведь действительно, чудом человек жив остался. И дома на Егора никто не ворчал, когда мы с ним рассказали предысторию незапланированной выпивки. Катерина с матерью, напротив, даже слезу пустили. Правда, одну на двоих. Но выпили – каждая за себя. А Егор поутру, как пострадавший, вообще на двор не вышел.

Баба Лена как тянула на себе основной домашний груз, так и продолжала. С матом в адрес непутевых домочадцев и

непокорной скотины. Но все это у нее получалось незлобно, с юморком. Так что никто и не обижался, и не пугался, даже если она брала в руки полено.

– Холера тебя возьми, – говорила она одинаково, обращаясь хоть к человеку, хоть к скотине, – вот тресну щас по башке, враз поумнеешь!

Потопчется, поругается, но всех накормит-напоит. А потом еще и с книжкой умудрится прилечь на кровать – любила почитать. И никогда не жаловалась, что тяжело, мол, болит все. И все привыкли: так и должно быть. А баба Лена взяла и умерла в одночасье. В 66-то лет...

II

Дети подрастали. И во всем – разные. Ванька рос непутевым – ни учиться, ни работать. Когда из школы после девятого класса поперли – за пьянку до деревенские мордобои – Егор сказал:

– Ну, мля, ты у меня напашешься!

А Ваньке – все пофиг. Гулеванит до утра, а потом спит до вечера. Проснется – и орет:

– Мать, дай пожрать!

Катерина, правда, если в это время дома оказывалась, на уступки не шла и за словом в карман не лезла:

– Я тя щас накормлю, паразит. Полено оглоеду приподнесу, вот его и жри!

А с Ваньки – что с гуся вода. Поскребет остатки по кастрюлям – и айда со двора. Егор уж надорвался один – то покос, то дрова, то картошка. А Ваньке – море по колено. Взорвался Егор, когда обнаружил сына на сеновале с какой-то приبلудной девкой. Кроме матов, ни одного русского слова больше не нашел. Но как взорвался – так и нарвался. Ванька-то еще и не проспался ладом, да и кинулся на отца с кулаками. И так отколошматил, что Егор потом два месяца в больнице отвалялся. Едва выжил. А Ванька, когда понял, что натворил, дал деру из деревни – от страха и стыда. Как же – все соседи гудели: на отца руку поднял. И не хотели признаваться, что у самих-то почти то же самое творится. Словом, сгинул Ванька. Поначалу пробовали было искать. А потом отступились...

Танька же была другой закваски. Все схватывала влет. Как у Некрасова – коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Шепутная, словом. Помню ее девчонкой, лет одиннадцати: прыгнет на коня в красном купальничке – и галопом его, до реки. И сразу – в воду. Все шарахались – сумасшедшая. А ей – в поле трава не расти: галопом по жизни, только галопом. Грядки посадить – сколько угодно. Сено

косить – да пожалуйста. Коров подоить (их в то время аж три было) – да хоть все стадо. Но чтоб весело было, с песней. А для этого взяла в руки гармонь и, не зная нот, за неделю переплюнула всех деревенских гармонистов. В четырнадцать лет такие частушки запевала, что даже самые ушлые в матах деревенские мужики головами качали: отчаянная девка!

И в школе – хоть и не отличница – тянулась к грамоте. И книжки читала, и по телевизору информацию впитывала, и на деревенские гульбища ходить успевала... В общем, интересы были самые разные. Поняла, что быкам хвосты крутить – не самое интересное занятие. И после восьмилетки поступила в педучилище – на начальные классы. А школа, кроме учеников и учителей, оказалась никому не нужна – ни сельсовету, ни тем более государству. И Танька, к тому времени уже мать двоих детей, стала торговать в круглосуточном ларьке. Продолжая витать в облаках, каждый день билась мордой, извините, лицом об асфальт – в поисках лучшей доли.

Но о родителях помнила. Когда совпали выходные с мужниными, летела в деревню. Сергей, женившись на Таньке, и не подозревал, какой груз на себя взваливает. С весны и до белых мух вкалывал в деревне почти все свободное от работы время – то есть все субботы и воскресенья. А после трудов самогончой расслабиться – святое дело. Только после этого курьезы с ним разные приключались...

III

Одно лето я почти полностью пропустил – работа, заботы... Освободился дней на пять, где-то к сентябрю. Как приехал в деревню – сразу к речке, подруге своей. Посидели, поговорили... Нового, в общем-то, ничего она мне не сказала. Так, поведала, что мельчает прямо на глазах, рыбка переводиться стала. А потому и рыбаков, с кем посплетничать любила, поубавилось. Словом, тоска.

– Ладно, – говорю, – по весне-то, чай, новостей накопишь, да и в берегах пополнишься. Тогда пообстоятельней поговорим.

А совпало так, что и Серега с Татьяной в эти дни в деревне оказались.

– Ну, – говорит Серега, – оторвемся сегодня по полной... Мы тут с дедом поросеночка приговорили – шашлычок сварганим. Есть че путевое выпить?

– Обижаешь, – говорю, – когда это я пустым приезжал?!

– Тогда я пошел мясо готовить, а ты отдыхай пока.

И потопал к себе. Тут и Татьяна – животом вперед. Не-е, не беременная. Походка у нее такая – сначала живот, потом – ноги.

– Здорово были, – машет рукой, – давно поджидали. А то пропали, блин, на все лето, поделиться не с кем.

– А что, – спрашиваю, – есть чем?

– Некогда щас, вечерком, под шашлычок, расскажу.

...И вот – вечерок! Самодельный мангал потрескивает угольками, которые слизываются падающие с шампуров капли жира. На столике, под ясным небом, водочка из погреба да зелень с огорода. И – вся деревня в гости к нам. Ребяшня давно уже нос по ветру держит: если дымок мясным вкусом пропитался, пора и на шашлык. Значит, дачники приехали, как в этом уголке деревни все нас называют. А мы что – всегда гостям рады.

– Ну, давай уже, телись, – не выдерживает Егор, когда все сгрудились за столом, – наливай по малой.

Под шашлычок да под водочку и разговоры пошли.

– Так рассказывай, – обращаюсь к Татьяне, – чем поделиться-то хотела.

– Да чем-чем, – смеется, – чуть бобылкой не осталась при живом-то муже.

– Это как это?

– А вот так это. Поехали на сенокос. Жара, блин, как на экваторе.

– Ты что, там была?

– Конечно, в турпоездку по глобусу ездила. Короче... Напахались, угорели и пылью пропитались так, что и речка не помогла. Только к дому – я уж иззуделась вся. Решили баньку истопить. А много ли ей летом надо: четыре полешка – и готово. Пойдем, говорю Сереге, расслабимся. А че, лыбятся, пойдём...

Смотрю, а в качестве слушателей – я один. Остальные лопочут меж собой. Как потом выяснилось, эта история давно уже облетела всю деревню. Может, и речка о ней мне успела поведать, да только не совсем я понял ее.

– Ну, и вот, – продолжает Татьяна, – зашли, разогрелись, самое время веничком побаловаться. Берет Серега ковшик и говорит: бздануть бы надо. Ну, давай, мол, поддай парку! Он горячий водички зачерпнул – и раз на камни... Они истошным шипом изошли. А Серега ковшичек в обратную сторону от каменки повернул и... заорал благим матом. В ковшичке-то кипяточек остался. Он его на самое нежное место свое и вылил...

Вот на этих ее словах все остальные разговоры за столом прекратились. Потому что дальше было самое интересное.

Хоть и слышали деревенские этот рассказ далеко не впервой, самый смачный его кусочек пропускать не пожелали. Смотрю на Серегу – а он, чувствуется, и рад, что его персону на всю деревню прославилась. Стоит – и ухмыляется довольный.

– Вылетел мой сокол из бани в чем мать родила. Завелся на одной ноте: о-о-о!!! Я – следом. Чем помочь-то, спрашиваю. Дуй, орет он мне, дуй на него. Я бух на колени – и дую, как дура. А он орет. Не помогает мой вентилятор. Схватила газету в предбаннике, свернула веером, машу. А он опять, ядрена корень, надрывается. Поливай пока холодной водичкой, говорю, а сама к соседке кинулась. Помню, у нее какая-то пенка, она хвалилась, от ожогов была. Вернулась с баллончиком, Серега по-прежнему воет. Прикрыла ему причинное место полотенцем да домой повлекла, на кровать уложила и улила пеной от пупка до коленей. Вроде притих. Слышу, мамка за шторкой причитает: ой, что же теперь бу-уде-ет?! Ты-то че воешь, говорю, это мне завывать надо!

Потом чем только этот крендель ни смазывали. Я уж изуверилась, что мужик нормальным станет. Смотрю – нет, вроде ружье его прежний вид обретает. На остальной-то жизни его трагедия почти никак не отразилась, только долго ходил нараскоряку. А ночью-то – ни тела, ни забавы. Но, коль дело на поправку, я уж и руки стала потирать: еще чуть-чуть и...

И тут приспичило поехать в лес по какой-то надобности. Вернулись к вечеру, в баньке опять же помылись. Я постель постелила, жду... Нет Сереги. Встала, пошла в баню. Сидит муженек на полке голый и матерится.

– Что – опять? – спрашиваю. – А у самой от нехорошего предчувствия аж скулы свело.

– Да вот, – показывает он пальцем на свое уже почти зажившее мужское достоинство.

– Что-о-о? – срываюсь на крик.

– Кле-ещ... Собака, в самый кончик угодила.

Словом, пост в половой жизни продлился еще несколько дней...

Гости все покатываются, хотя и знают эту историю наизусть. А у меня от смеха колики начались. Только рукой машу: хватит, мол, уже мочи нет. А Серега стоит и сияет от удовольствия как начищенный самовар: как же, главный герой!

А Танька опять:

– Ты послушай, что еще муженек отмолил.

– Погоди пока, – молю я о пощаде, –

дай продохнуть. Выпьем по чуть-чуть, а там хоть до утра рассказывай.

Деревенским два раза повторять не надо. Разлили по стаканам остатки гражданской водочки, выпили. А под закуску Танька еще одной историей поделилась.

– Как-то после банкета...

– Опять?! – не выдержал я. – У вас что, вся жизнь там проходит?

– Ну, получилось так. Я ж не придумываю.

Я знаю: Танька, хоть и гораздо на выдумку, при деревенских врать не станет. А тут и Катерина ее вроде как поддержала:

– Это ты про меня, что ли?

– Про тебя, про тебя.

– Ой, Саш, умора. Ты послушай, – говорит Катерина, теперь уже себя чувствуя героиней пьесы.

– Ладно, мам, не перебивай. Так вот. Я-то из банкета вперед ушла, жду муженька в койке. А он опять запропал. Ковшика, думаю, теперь как огня боится. И клещам уже не сезон. И вдруг слышу мамкин голос: «Сергея, ты че?» А потом бряк что-то об пол – как мешок с картошкой. И мамка опять: «Тань-ка-а!» Думаю, стряслось что. Вскликаю, а навстречу мне муженек – на четвереньках. Ты что, кричу, в своем уме?! А он нырнул на кровать – и затих. Я к мамке: что случилось? А она закатилась смехом, руками машет, слова выговорить не может. Я рывкнула матом. Вроде затихла.

– Да где там, – перебивает ее Катерина. – Просто сил уже не было смеяться. Это ж надо такое учудить!

– Так что случилось-то? – спрашиваю.

– А пусть мамка дальше рассказывает, – говорит Танька.

Катерина, довольная, продолжает:

– Да уж случилось. Я только-только дремать начала. Вдруг чувствую – кто-то прыг под одеяло и со спины пристраивается. Про Егора-то и не подумала, давно уж перестали в эти игры играть. И тут меня кто-то хватил за титьки – и так это ласково: ох, погрей, погрей, погрей! А голос-то – Серегин. Ты что, говорю, зятек, белены объелся? А он бряк с кровати – и бегом от меня на четвереньках.

Видимо, об этом происшествии половина присутствующих не знала, потому что хохотали до слез, до икоты.

– Серега, – спрашиваю, едва переведя дыхание, – что, так и было?

– Да-а-а, – отмахивается он, – просто принял немного лишку. Все уже спать легли. Я пока с соседом покурил, захожу – темно, свет выключили. Вот в темноте да спьяну комнаты и перепутал. Сам испу-

гался, когда тещу услышал. Да ладно, давай еще по одной.

– Так все, – развожу руками, – последнюю допили.

– У нас последней не бывает, – говорит Любка, соседка. И ставит на стол бутылку. – Не боись, не отравя. Наша, доморощенная.

В общем, угомонились далеко за полночь. Впрочем, должен сказать, что подобные посиделки у нас бывают нечасто. Только – когда долго не видимся. И то – не пьянки ради, а разговора для... И чаще всего в центре всеобщего внимания оказывается именно Татьяна. Умеет она заставить слушать себя. А уж историй разных знает – не на одну книгу хватит.

Когда мне стукнул полтинник, пригласил ее на сабантуй. Там много кого было – и сподвижники-журналисты, и друзья по жизни. Люди, в общем-то, что называется, интеллектом не обиженные. Стихи читали, тосты грамотные говорили, песни народные и бардовские пели... А Танька взяла гармошку и такие частушки врезала! Думал, у остальных уши трубочкой свернутся. Ан, нет! Русский мат, когда он кстати, становится всенародным достоинством. Подпевали все – и друзья, и начальники, и подначальники, и весь остальной приглашенный люд.

Через день Танька позвонила мне и пожаловалась, чуть не плача:

– Не могу, – говорит, – так больше жить. Побывала у тебя на дне рождения – как в роднике искупалась. Какие интересные люди! А вернулась домой – будто в болото окунулась. В ночь – на работу. Пришла, села, юбилей твой вспоминаю по минутам. И вдруг просовывается прыщавая морда в окно: «Тетка, дай упаковку презервативов!» И так тошно стало – хоть вой... Ведь это же – как два берега. Они никогда не пересекутся. А я между ними – вроде мостика. Не хо-чу!!! Мама-мама, роди меня обратно.

– Не голоси, – говорю, – выбираться надо. А у Сереги что на птицефабрике?

– Да сократили его. Кур не осталось – щупать некого.

Забыл еще сказать, что перед этим Танькин младшой засунул включенную плейку под ковер – а вдруг и у него, как у мамы, волосы дыбом встанут. Может, и встали. Только проверить-то – как? Полквартиры выгорело. И опять Егор с Катериной тянут жилы: то поросенка режут, то гусят потрошат. В общем, выжили. Танька после этого бросила киоск и попыталась бизнесом заняться. Да только на год ее и хватило. Спустила все до копейки и

опять в киоскеры подалась. Круг замкнулся...

Грустно все это. Но деревня выручала. До поры до времени. Катерина с Егором наизнанку выворачивались, чтобы дочери помочь. Крутились, как всегда, до первых звезд. А как те падать начинали – падали и они.

– Ой, устаю, Саш, сил нет, как устаю, – жаловалась с утра Катерина. А к вечеру как ни в чем ни бывало песни голосила. От души голосила, от сердца. Но вот сердце-то и не выдержало – надорвалось. По весне-то еще суетилась, картошку сажала. А посередине июня слегла. Медицина лечила, знахарок нанимали – все зря. Через месяц не стало Катерины. Егор трезвехонек был. А шатало – как пьяного. Валидолом отпаивали. Когда похоронил жену, маялся из угла в угол или днями пропадал на кладбище.

– О-о, Саш, места себе не нахожу. Жжет все изнутри. Тут, слышь, пришел к ней – свиньи, суки, разрыли все. Оградка упала. Вот с утра поправлял. О-о, мля... Куды я без нее?! Проснусь среди ночи – тишина... Жу-у-тко.

Будто этой тишины за многие годы глухоты и не слышал. Знать, нутром все воспринимал. Вот стоит к тебе спиной – попробуй, оклики. А Катерина могла. Топнет по полу ногой – он оборачивается. То ли половицы ему в подошвы били, то ли душа отзывалась. А тут – опять срыв. Танька-то в городе, а он по привычке тянул крестьянскую лямку: корову подоить, свиней накормить, да собакам – что останется. Но уже – как робот. А к вечеру возьмет у соседки четок, выпьет и, не раздеваясь, валится в койку. И так – каждый день. Мыкались с ним, мыкались и решили дом продать. А он в город – ни в какую. Кому, мол, я там, глухой, нужен?! Но Татьяна настояла – и не стало у меня соседа.

Вселились в дом две бабки. Говорят, баптистки. А может, и врут. Только с ними, думал я, все равно ни поговоришь, ни выпьешь...

И Егору – каково в городе? Кто с ним, глухим, общаться будет?

Эх, жизнь...

IV

Кроме речки Чонки, в деревне есть еще немало достопримечательностей. Например – Камень, Луг, Топольник и Погост. Это я их величаю с большой буквы, а для местных – это как указательные знаки на городских улицах. Где рыбачил? Под Камнем. Где ноне стадо пасется? На Лугу. Где посиделки устроим? Да как где –

в Топольнике. Приезжий не сразу и поймет, о чем речь. А для местных – привычные ориентиры. Но каждый из них заслуживает того, чтобы рассказать о нем чуть-чуть подробнее...

Вот Погост, к примеру. Те, кто выбирал место для него, намного лет вперед смотрели, думая в первую очередь о душе. Это человеческое тело в землю опускали, а душе его оставляли простор и покой. Стоит Погост на высоком обрыве, возле которого норовистая Чонка усмиряет свое течение, превращаясь в тихую и покорную речушку. С берега на берег перейти – воробью по колено. На самом Погосте – смиренность и покой, которые оберегают могучие сосны. И небо над головой даже в непогоду чистое...

А Камень! Вся деревня – как бы в котловине, будто – в огромной чаше. Дорога при въезде медленно идет под уклон, и перед тобой открывается совершенно чудная картина: аккуратно сосредоточенные домишки внизу, а по окружности чаши к ним сбегаются сверху деревья. Причем с юга – березы, а с севера – сосны. Красота – неопишуемая! А на краю деревни, там, где я свой дачный «курятник» приобрил, над самым берегом возвышается небольшая сопка. Вот она и называется Камнем. И что за порода? Не геолог, не знаю. Но ничем ее не возьмешь. Задумал я подполье вырыть. Сначала лопата совсем легко шла – как в песок. Потом, за слоем глины, углублялся чуть ли не по сантиметру. Метра два всего и вырыл. А потом – как броня. Какая там лопата! Ломом пробовал – только искры в разные стороны. Хоть взрывавай... Видно, кряж аккуратно под моей усадьбой прошел, потому что соседи дивились: они и погребя, и силосные ямы легко копали.

Камень со стороны и не высокий совсем, может, метров пятьдесят. Но вся деревня и окрестность вокруг видны с него – как на ладони. А глянешь в небо – коршуны, как властелины здешних мест: распластав крылья, парят в воздухе. То ли добычу себе высматривают, то ли жуеродцев пугают. Правда, клекот их, прямо скажем, не впечатляет. Для таких-то птиц, орлиных, по местным меркам, их писклявые голоса и слушать даже как-то неудобно.

А прямо от Камня начинается Луг – огромный зеленый ковер в несколько квадратных километров. И по всей этой роскоши – единственное дерево: старая ветла, которая и сама уже не помнит, сколько ей лет. Прежде Луг берегли, колхозное стадо туда не допускали. Это ж

кладовая была: и травы целебные, и клубники полным-полно, и цветов море – пчелам отрада. А как захирела деревня, на Луг махнули рукой, забыв, какими богатствами он всех одаривал. Скотина все вытоптала. Душица, которую раньше охапками собирали, нынче лишь редкими кусточками видна. Ягоды совсем не стало, и пчел не слышно. Эх, безалаберность российская!

Почти нетронутым оказался лишь Топольник. Он длинным языком распластался на дальнем краю Луга и корнями молодого ивняка в знойные дни жадно пил из речки живительную воду. Но и ему тоже досталось – и от местных, и, особенно, от пришлых. Вдоль берега порубали деревья на костры да на обустройство рыбацких «причалов» возле омутков, чтобы с них сподручнее было закидывать удочки за камыши. А то ведь в иных местах камыши отвели себе деляну чуть ли не до середины реки. Ну, а за ними – самая рыба: и окунь, и щука. Но кроме рыбаков да молодой деревенской поросли, которая проводила у костра свои посиделки вдали от взрослых, на Топольник больше никто не посягал. Только бабы деревенские наведываются сюда по осени за калиной, спелые гроздья которой полыхают огнем вплоть до зимы, пока их не припорошит снегом...

V

Был у Егора в деревне до недавнего времени товарищ по несчастью – Михаил. Они и выпивали вместе, и, самое главное, общались! А вот как, никто понять не мог.

...Михаил с детства глухонемым родился. Поначалу-то еще ничего – носился с деревенской шпаной, всех прекрасно без слов понимая. Когда время пришло впрягаться в трудовую лямку, тоже особых сложностей не было. Смотрел, что показывали, запоминал. Где не получалось сперва, помогали. И годам к шестнадцати работал он уже не хуже заправского мужика.

Только вот замечать стал со временем, что девчонки, соком наливаясь, в его сторону и не смотрят. Гнать, конечно, прочь не гнали, но и потискать себя, как другим его сверстникам, не позволяли. Обидно стало: и силой Бог не обидел, и лицом не кривой. Ан, нет, сторонятся девки.

И тут из соседней деревни, в которой и оставалось-то три двора да два кола, семейство к ним в село переехало. Старуха древняя, лет под сто, мужик с бабой,

нуждой замученные, да семеро их деток – мал-мала меньше. Поселились в заброшенном домишке на краю села да стали обустраиваться. Привезли с собой нехитрый крестьянский скарб, коровенку привели. Старшая, Валентина, кареглазая егоза, по деревенским меркам давно уже была на выданье – девятнадцать исполнилось. Видать, из-за нее и перебрались на новое житье-бытье. А иначе то – где жениха сыскать...

А Валентина к тому же рябенная была, поэтому на красавца и не надеялась. Но и парни попроще на нее как-то тоже не заглядывались. И только Михаил что-то приветливо мычал при встрече и улыбался во весь рот. Сначала она сторонилась его, а потом ничего, попривыкла. Даже скучать стала, когда день-два с ним не виделась. Ну и что, что немой, думала она, душа-то, говорят, у него золотая просто.

А через полгода где-то, ближе к зиме, Михайловы старики заслали к переселенцам сватов.

– Смотри, девка, тебе жить, – только и сказала Валентине мать. А отец так вообще рад был – и от лишнего рта избавиться, и зятя, хошь и немного, но домовитого, на помощь по хозяйству позвать.

В Рождество сыграли свадьбу – небольшую и шумную. И стали жить. Семь лет прожили – шестерых детей народили. Погодками. Работали от зари до зари, но добра особого не нажили. Правда, разутыми-раздетыми да голодными не ходили.

...Беда пришла, как всегда, нежданно-негаданно. Собрали мужики по деревенскому обычаю «помочь» на строительство дома односельчанину. Быстро подвели его под крышу, стали рубить стропила. Вот тут-то Михаил каким-то макарном и навернулся с верхотуры. Головой сильно ударился. Когда в себя пришел, думал – ночь. А ночь эта оказалась на всю оставшуюся жизнь: к глухоте да немоте еще и слепота прибавилась.

И стал Михаил с горя самогоночкой баловаться, хотя раньше пивал ее только по праздникам. А следом и Валентина пристрастилась. Вечером песни, к ночи драка, утром похмелье. Бывалочи, по нескольку дней гулеванили. В доме – ни копейки, дети – голышом, некормленные. Правда, старший, Матвей, уже подросток и стал во многом заменять отца. Денег родителям не давал. Покупал в сельмаге какой-никакой провиант и кормил младших. Иначе – не выжили бы.

Не заметили, как и остальные подро-

ли. Разлетелись из родительского дома. И – как сгнули. Только Матвей, переехавший в соседнюю деревню, частенько навещал стариков. Да Маринка, младшая, живя неподалеку, помогала, как могла. Хоть и у самой – семеро по лавкам. И ни одного мужика на постоянье. Вся ребятня – суразенки. От старшего уже вся деревня стонет – басурман, каких здесь давно уже не видывали. То со двора у кого-нибудь что-то стащит, то напьется да дебоширить начинает, то вообще из дома пропадает новость наслово. Пока милиция его обратно не доставит. А ведь еще и шестнадцати не исполнилось. А как исполнилось – посадили... А Маринке – все нипочем. С шестерыми на руках мужика нашла. Правда, в отцы ей годится, но вроде зажили нормально. Но это уже потом было, после смерти отца. Как он помер, я особо не расспрашивал. Просто Чонка первой мне сообщила: нету боле Михаила-то...

А я вот хочу рассказать, как Михаил с Валентиной жили. Да как все почти. Только меня все время удивляло – как он по хозяйству-то управляется?! Утром смотрю – и бревна пилит, и дрова колет, и баньку истопит. Но больше всего удивляло то, что он, если выпьет где – хоть с Егором, жившим рядом, хоть еще с кем-то, хоть на краю деревни – всегда возвращался домой. Понятно: ему что день, что ночь – все едино. И трезвый, когда палкой стучал по забору, видимо, как-то ориентировался. Но когда пьяный?! Совершенно непонятно. Он шел посередине улицы, как по ковровой дорожке, и никогда не проходил мимо своей калитки. А вскоре начиналось...

Валентина голосила на всю деревню. По пьяне, думал я, Михаил права качает, гоняет жену по двору. И почти правильно думал. Только он не в драку лез, а своего, мужского удовлетворения от бабы требовал. Трезвый напрочь забывал о своих супружеских обязанностях. Да и какие, казалось, обязанности в семьдесят-то с лишним! А после рюмки...

– Совсем, оглоед, рехнулся на старости лет, – жаловалась Валентина. – Вот кобелина! Там и срам-то его уж весь извял, а туда же. Гоняет, черт, меня по всему подворью, мычит и требует.

– Екарный бабай, – говорю, – он же слепой! Ты что, спрятаться не можешь?!

– Ага, слепой, – смеется Валентина, – а нюх-то на что?

– Как у собаки, что ли?

– Да навроде...

Любила Валентина выговориться. Гонит ли гусей к речке, свиней ли пасет, но

как кого увидит, бросает свое заделье.

– Мой-то нонче опять учудил, – приноравливается она к разговору.

Я сижу на берегу – самый клев пошел. Не до разговора. Отмалчиваюсь.

– Слышь-ка, че учудил-то, старый, – не отстаёт Валентина. – Я тут из лесу валежника натаскала, тычу немтырю в бок – иди, мол, поруби. А он, ты ведь знаешь, когда тверезый, за всяко дело хватается.

– Да знаю, – досадливо говорю я, пропустив поклевку, – каждый день вижу. Я с глазами и с ушами столько не сделаю...

– Ты – что... Ты городской. А мой-то с пеленок деревенскую жизнь наизусть выучил. Ну, так вот, – не замечает Валентина моего недовольства, – слушай дальше. Взял он топор, подтащил к чурке валежины и давай рубить.

– Я вот наблюдаю, – перебиваю я Валентину, – как он угадывает-то, где рубить?

– Эка невидаль! Да ты помытарься с его – так же наострячишься. Ладно, не встревай боле. Вот рубит он, а я вдруг слышу – куры раскудахтались. Думаю, коршун цыплят приглядел. Выхожу – матушки!!! Мой-то топором машет по лесинам, а в ногах у него курица без головы бегаёт. Отрубил напрочь. Зрячий этак ровно не сможет. И как она на чурбан попала, в толк не возьму. А этому немтырю глухому разве втолкуешь, что несущку загубил?!

Подобных историй я слышал от Валентины не один десяток. И больше всего ее тянуло на разговоры, когда стаканчик в себя опрокинет. Впрочем, в подпитии все мы горазды на душещипательные беседы. А деревенские, как я отметил, в особенности.

Ну, ладно чьи-то рассказы. А когда сам – свидетель?! Как-то ближе к полуночи, только спать засобирался, Катерина заголосила:

– Саш, Саш... Слышь, что ли? Баба Валя пропала.

Вот интересно, думаю, сама-то и молже ненамного, но – баба Валя. В деревне – своя иерархия. Но тут же очнулся:

– Как пропала?! – спрашиваю.

– Да как, – говорит, – ушла с Фридой утром в лес за грибами – и с концами. Дед ейный к Егору пришел: выручай, мол. А этот пень куда пойдет?! Чего делать-то?

– Искать надо, – говорю. – Она куда подалась-то? На гору или через речку?

– Да кто бы ее знал... Грибов-то – и там, и там полно. Не... Не сыскать нам ее седня. Да и народ не поднимешь в такую непогоду.

А дождь зарядил с обеда. Да нешуточный – все небо обложило. И по всей де-

ревне – тишина. Пока по дворам пройдешься – рассветает. Вот так до зорьки и прокуковали мы за разговорами. Ну, думаем, пора... Только вышли на крыльцо – Фрида, собака, бежит навстречу, хвостом виляет: не волнуйтесь, мол, живы-здоровы мы. Следом Валентина едва ковыляет. А с ее двора уже доносится: а-у-а-у-а. Это Фрида уже хозяину доложила. И Михаил, трезвехонек, несется к речке без палки-поводыря. А Валентина, улыбаясь во всю ширь давно беззубого рта, бормочет:

– О, гляди, оглоед-то мой – испугался. Несется, ажно кочерыжку свою потерял...

А сама светится – как девка на выданье.

– Ты че, Валь, рехнулась, че ли? – вмешивается Катерина. – Мы, чай, глаз не сомкнули за ночь. А она – лыбится...

– Так и я не сомкнула, – машет рукой Валентина, – думала, помру. Ведь все, вроде, вокруг знакомо, каждая тропинка. А вот, подишь ты, заплутала. Может, еще вечер бы добралась. Так наось – дождь как из ведра. Фрида – та совсем на нет изошла: и воет, и воет. Ты че, говорю, хоронишь меня? Не, мол, погожу еще. Улеглась под деревом, куртчонкой прикрылась, да и задремала. А как петухи запели – я уж и дорогу увидела.

– Увидела она, – ворчит Катерина, – а мы тут с ума все походили...

– Ну, приходите вечером, – подмигивает Валентина, – ум-то восстановим. Я тут припаслась. Да так упрятала, что мой немтырь никаким нюхом не докопается. Приходите... А я пока вздремну чуток да отогреюсь.

Что меня больше всего поразило! Не рассказ Валентины, а то, как себя в это время Михаил вел: слепой, глухой, немой – а все понимал! Не прицепился к жене, чтобы до дома добраться, а вроде как приобнял ее, любя, чтобы в целости и сохранности довести до отчего порога. И она прильнула к нему – как давным-давно, откуда и память-то раз в сто лет возвращается.

Ну, а вечером, распарившись в баньке да приняв привычную для себя дозу, она уже в подробностях рассказывала о своих приключениях прошлой ночью.

– И не думала никогда, что в трех со снах плутать буду. Иду – гриб за грибом. Уж и тащить тяжело, а жадность дальше ведет. Фрида – и та вся извелась, подбежит, гавкнет: хватит, мол, домой пора. А я, как дура, все пластаю. Тут как громыхнет! И сразу – ливень. Сколь часов было, я и не сообразила. Забилась под сосенку да

молю Бога, чтоб молынья не поразила. Так до утра и продрожжала. А с рассветом смотрю – деревня-то почти напротив. Словно леший закружил...

И ведь не простыла под ливнем, и никакой иной хвори не подхватила. Что значит – деревенская закалка. Городская-то бабенка, поди, просто от страха умерла бы, окажись в такой ситуации. А баба Валя – хоть бы хны. Впрочем, попадала она и в более экстремальные ситуации, при которых обычный человек просто с ума может спятить. Вот, например, такая история.

Домик ейный аккурат на повороте от Чонки в улицу стоит. А это – почти что тракт. Ведь в Топольник целыми днями гоняют все кому не лень – и на машинах, и на мотоциклах. Только шум стоит. А поворот – в гору, и крутой к тому же. Трезвых-то, кто за луг ездит, по пальцам пересчитать можно. Ведь там, в Топольнике, самое гульбище. Замечал однажды: пронесся мимо грузовик, доверху людьми набитый. Я и простоял-то на берегу с удочкой, может быть, с часок. А грузовик уже обратно пылит. Народу в кузове – наполовину меньше, но песни... Хору имени Пятницкого и не снилось. И ведь жара – за тридцать. Но самогон им – как родниковая вода.

А тут дело ночью было. Как Валентина поутру рассказывала, часу, этак, во втором. Присела я, говорит, на ведро по нужде – не на улицу ж идти середь темни. И тут бах – окно в комнату влетает вместе с потрохами. Гляжу, говорит, К-700 мордой в мой дом въехал...

– Как же ты, – спрашиваю, смеясь, – на горшке-то марку трактора углядела?

– Так чего ж я, слепая чо ли?! Он у нас один во всей деревне. И вот те здрастье, в гости валовал.

– Так сходить-то успела? – издеваюсь.

– А ты-то как думаешь... – смеется. – И не раз...

Оказалось, ученичок-тракторист первый раз без присмотра за руль сел. В Топольнике, естественно, обмыл начало будущей трудовой деятельности. Вот в поворот и не вписался, въехал бабе Вале в окно. И опять же: другая со страху бы в ведре скончалась. А та трусишки постирала, утром на веревочку повесила и опять песни поет. Во – закалка! А пролом в стене просто бревнышками забрали. Подумаешь – одним окном меньше. И паренька никто за загривок не взял: что ж это – из-за такой-то мелочи жизнь парню гробить?!

Только вот, к сожалению, деревенские терпимость и всепрощение самим же жителям боком и оборачиваются. Тот же

внук бабы Вали... Почти с пеленок всех прохожих матом крыл. Я разок ему уши надрал, так она не возмутилась, а наоборот, похвалила меня:

– Вот молодец. А то никакого сладу нет с обормотом. У матери-то еще там ребятня, а этот злыдень мне целыми днями глаза мозолит. Поди-ка, уследи...

И не уследила. Ни она, ни мать. Учиться не стал, сколько раз из дома сбегал, пока ни влип в историю. Вот теперь и «отдыхает» в местах не столь отдаленных.

А Валентина после смерти мужа заколотила избушку да к сыну подалась в соседнюю деревню. К дочери не пошла. И то... Мужское плечо в старости всяко надежнее будет.

VI

Вот о таких подробностях Чонка мне не сообщает. Да ей и ни к чему. Она сколько веков живет – недосуг ей помнить каждую судьбу деревенскую в подробностях. Вот если что серьезное, эпохальное, так сказать, для нее, то расскажет. Но, как это часто случается, с опозданием. Вот, например, о том, что новый мост построили, я знал уже весной. А она мне жалуется в первый летний приезд: смотри, мол, изуродовали все вокруг, где присядешь-то?!

И впрямь. Поработали строители вокруг моста изрядно. Переправу временную сооружали. От моего камня, что перед самой Чонкой лежал, годами ласкаемый ею, и следа не осталось. Какой-то «любитель природы» сдвинул его трактором с берега в речку и не спросил, больно ей или нет. А я, как подошел, сразу почувствовал: тяжело реченьке, не ожидала она подобного варварства, чтобы принять на свое тело такую глыбу. Чай, тоже стареет, может, и не по силам уже огромные камни-то vorочать.

Ну да ничего, говорю, я тут к ивушке прислонюсь, да все равно по душам поговорим. А сам думаю: сколько же тебе, реченька, досталось-то за свою жизнь! Не берегут тебя люди, хоть и поишь ты их, и кормишь, как можешь. Камни да поваленные деревья – это еще полбеда. С ними ты и сама как-нибудь справишься. А вот помню, как три года твоя чистая, под самый гребень забитая рыбой протока отходила от кошмара, который устроил тебе деревенский недоумок.

Знаю этого пацана лет с трех. Сидел на краю огромной лужи посередине улицы и щепки, вроде как кораблики, по ней пускал. Чумазый – как те поросята, что пофыркивали в свое удовольствие в той же луже. И вот вырос, на трактор сел. Приспичило ж ему масло менять... Вот и при-

гнал «Беларусь» к рукаву Чонки, который из-за малого течения чуть ли не в озеро превратился. Я здесь всегда и окуньков, и песканов вылавливал. Более крупной рыбы, правда, в протоке и не было, но ведь все равно – улов.

Ты тоже помнишь тот день, когда с самого утра обещала угостить меня десятком песканов на жаренку. И только клев пошел – в начало протоки въезжает трактор. И через пять минут по воде поплыли жирные маслянистые пятна... Подхожу, спрашиваю у безусого тракториста:

– Что ж ты, ядрена корень, делаешь? Тебе что, гадить больше негде?

– А че? – удивляется тот. – Я просто масло решил поменять...

И ведь что интересно: вдарить – не поймет. Ну, слил масло в реку – какая беда-то? А беда и случилась: затянулась протока маслянистой пленкой до самого ледостава. Но как долго потом речка вымывала из себя эту маслянистую заразу!

Ну что за народ такой! Ведь не стал же бы этот пацан гадить у себя дома посередине комнаты. А на речке – сколько угодно. Да и другим – особенно-то это нужно? Берега превращаются в свалку. Ну и что, пожал как-то плечами местный абориген, по весне-то вода все стащит вниз по течению. Вот проблему-то выдумал, наплевать, мол, да растереть. А Чонка страдает, утыканная в прибрежье железным хламом, корягами да битым бутылочным стеклом... Страдает и жалуется: кто поможет?!

Пробовал как-то поговорить об очистке реки с местными учителями. Они только рукой махнули: нашел, о чем беспокоиться. У нас своих забот полон рот. Но речку-то жалко! Пробовал в одиночку что-то сделать – сизифов труд. Гадить умудряются гораздо быстрее. И местные, а особо – приезжие, коих в выходные на берегах Чонки и машинами не сосчитать.

Прости, Чонка. Тебе, конечно, не знакомо такое слово: экология. Да и в деревне заикнись об этом – насмех поднимут: чистоплюй, мол, выискался. Природа сама во всем разберется. А не может она. Устала... И реки, и леса, и луга завалены отходами «цивилизации» по самое «не могу». И ни конца, ни края нет продвижению этой «цивилизации».

VII

Прости, Чонка. Но это разговор бесконечный и тупиковый. А я-то все о своем, о жизни деревенской. Да, собственно, ты первой начинаешь об этом разговор. Вот опять о Сенке напомнила, братишке Егоровом. А я с ним только вчера пересекся. Сколько его знаю – не меняется.

Маленький, худосочный – в чем душонка держится. Очки на носу, веревочкой подвязанные, линзы – как от допотопных телевизоров КВН, если кто помнит. Мужичку, почитай, шестьдесят, семерых детей настрогал да выросил, внуки уже девчонки щупают, а он все – Сенька.

Но это – только для взрослых. Детишки – те уважительно: дядя Сеня. Он им и удочку соорудит (хотя ни разу на реке с ней замечен не был), и велосипедишко, которому место лишь на свалке, починит. И бабам соседским, у кого мужиков не осталось, всегда по хозяйству поможет. Особенно, если им телега надобна. А у него – кони. Как в песне про гусей: один белый, другой серый. И своевольные оба – не приведи Господь. С путями на ногах такие версты закручивают, что хозяин с ног сбивается, их искаючи.

Сенька – очень шумный мужик. Ходит вдоль берега, коней своих ищет и орет благим матом: тудыть-судыть. Да такую тираду задаст, что даже лопухи уши скручивают. А уж рыба – та вообще от берега отчаливает. Что ж ты, думаю про себя, разорался-то спозаранку? И костеришь его в душе...

И вдруг сзади:

– Че, ни хрена не поймал? – лыбится Сенька во все свои двенадцать зубов. А ведь только что казалось, что за километр орал. Слышимость-то по утрам – по всей округе.

– Опять коней потерял? – спрашиваю.

– Язвы их, шлындают где попало – не осмотришь. Весь луг обежал – нету. Поди, опять задами домой пошли. Так че, говорю, поймал-то?

– Да вот забросил только, а ты и разорался, всю рыбу распугал.

– А-а, рыбачить просто не умеешь. Вот я позавчерась...

И я в сотый раз выслушиваю его байки, узнаю про новые потайные места на Чонке, где только он и может добывать рыбу. Проверял поначалу, но, видимо, она только ему на крючок и идет.

Понимаю, что минимум на полчаса рыбалки не будет. Достаю сигарету, закурываю. И опять в сотый же раз выслушиваю Сенькину отповедь:

– Вот, опять травмишься... И зачем? Я вот тридцать лет курил, а потом – как отрезало. Все, говорю себе, хватит кхыкать по утрам, все легкие надорвал. Я вон, смотрю, ты тоже через раз кхыкаешь. Тебе это надо?

– Нет, – говорю, – не надо. Ладно, Сень, коней не потеряй...

– От язвы их, никакого сладу. Ну, бывай, пойду искать обормотов.

Сенька ушел, звонко щелкнув кнутом

напоследок. А я задумался: вот ведь, тридцать лет его знаю и – завидую. По-хорошему завидую. Это ж надо, поднять такую ораву: напоить, накормить, одеть, обуть... В городе-то и одного родить не хотят, накладно, мол. А тут... Ободрали крестьян, как липку, а они живут, как и раньше жили. Только жилы втрое надрывают, но дело-то свое делают. С матом – но делают.

Хиреет деревня, истощилась вся. Это из бывшего-то колхоза-миллионника развалюшку сделать?! Эх, матушка-Расся, это что ж с народом твоим вытворяют! И ведь не икнется никому. Да и кому икать-то? Чубайсам да абрамовичам, которым беды людские – как кость в горле? Народ-то ведь кормить надо. А зачем? Ну, вымрет миллионы тридцать, как открыто заявил Чубайс, так новые народятся... При нормальном-то раскладе, когда подобные вещи говорят государственные, по их мнению, люди, к стенке надо ставить.

Ну, да ладно. Это я просто задумался о своем, взглядом провожая Сеньку. Конечно, от олигархов надо избавляться. Только желает этого каждый по отдельности. А двинуть им в зубы единым кулаком страшновато. Памятны народу и 37-й год, и начало пятидесятых... Хороший человек Солженицын, правду-матку прямо в глаза резал. Только за ним была, как говорят, «вся прогрессивная общественность». А за Сенькой?!

Помню его еще совсем молодым. С виду – сам пацан пацаном, а в доме – уже трое ребяток бегают. Куда, спрашиваю, строгаешь-то? Так ведь мужик я, али как, отвечает, работу-то свою основную исполнять надобно. Так это понятно, говорю, а чего частишь-то? А чтоб штаны экономить, лыбится Сенька, от одного – другому. Вот так и настрогал полный дом детишек. И помощь от каждого ожидал. Да и помогли, ничего не скажешь, пока своими семьями обзаводиться не стали. Один на городской женился, другой на заработки подался, третий в армии по контракту остался... Так и слиняли все из деревни. И работу в городе легче найти, да и платят деньгами, а не комбикормом. Только дочка младшая вышла за деревенского и осталась с родителями. Да еще и в Евдокию пошла, в маму свою: троих за время перестройки родила, а уж при Путине, который 200 тысяч пообещал (сумасшедшие для деревни деньги), готова вообще каждый месяц рожать. Вот только природа не позволяет.

А Сенька по-прежнему лыбится: да, проживем... Руки-ноги есть, кони вывезут, а уж куда их направить – соображу. И сообразит, кто бы сомневался, при кресть-

янской-то смекалке... Но при этом важно, чтобы жена всегда была рядом. Что сама не успеет – подмогнуть всегда можно. А вот как у Егора случилось – худо. Без Катерины все и рухнуло. Впрочем, не у одного Егора.

VIII

Такая чудная пара рядом с Егором жила: Матвей да Наталья. Двоих детей вырастили, учение дали. А они рванули в город, семьями обзавелись – и поминай как звали. И Матвей, работающий от природы мужик (одними почетными грамотами весь дом вместо обоев можно оклеить), знавший меру питию, когда колхоз в разор пошел, все чаще стал к бутылочке прикладываться. Пил, помню, с Егором да глухонемым Михаилом все свободное от работы время. А когда работы не было, пили круглые сутки. Бабы не успевали их искать по овинам. Нахлещутся самогонки и спят бок о бок с коровами. Со свиньями брезговали, даже в стельку напившись, а с коровами – как с родней.

Наталья, как и Катерина, костерила муженька на чем свет стоит. А тот вполуха слушает ее, а полтора для себя про запас держит: баба ноет, а выпивка все равно найдется. Только раз свернуло мужика не на шутку. Полгода отвалился. Сначала в больнице, потом дома. А Наталья что – семижильная, что ли? Только мужика на ноги поставила – сама слегла. Да так и не поднялась. Матвея как лопатой по башке шибануло – виноватым себя почувствовал. И потом долго спиртное на дух не переносил. Поначалу, было, приглашали. По привычке. Но он таким отборным матом отвадил всех бывших сотоварищей, что те и заикнуться о выпивке не могли. Только Наталью-то не вернешь. А бобылем да без занятия жить-то вообще никак.

В ту пору в деревне еще радио говорило, аккурат в перестройку. Вот Матвей и слушал все подряд, на ус мотал, какая политическая обстановка в стране происходит. На заре советской власти ему цены бы не было – подкован был в политике от и до. А как перестройка закончилась, радио в деревне и отключили. Навсегда. А телевизора у Матвея отродясь не было. И газеты он никогда не читал. Но политика уже въелась ему в печенку, и он никому в деревне не давал проходу, выспрашивая новости: что, где и как происходит. Насобирает за день информацию через сарафанное радио, переварит ее за вечер, а ночью никому от него покоя нет.

Иной раз казалось, что Матвей вообще не спит. Уж на что я – полуночник, раньше двенадцати в постель не загонишь, а

он мог подойти к забору часика в два ночи и, как ни в чем не бывало, крикнуть:

– Сашк, спишь, что ли?!

И ведь трезвехонек. Уж сколько лет ни капли в рот не брал. А куролесил, буд-то спьяну. По гостям шлындал ночь-заполночь. Его чуть ли не в загривок – а он одно талдычит: да мне поговорить надо. Поначалу даже интересно было его слушать, а потом что-то подустал.

– Дядь Матвей, – спрашиваю, – ты на часы когда-нибудь глядишь?

– А на кой ляд они мне сдались... Солнышко вон по утрам восходит, а ночью луна светит. Так что маненько по времени ориентируюсь. Ты мне лучше скажи: вот за кого мы постоянно голосуем? Жириновские всякие, ельцины-президенты, зюгановы-коммунисты... Верить-то можно кому?

– Да, коленвал, дядь Матвей, – говорю, – а до утра подождать не мог?

– Если б мог, не пришел бы. А те че, ответить лень? У меня ж ни радио, ни телевизора. Одна информация – бабы по заборам языками размазывают. Это ж, чай, не город, где тебе все расскажут и покажут. Я ж тебя о чем спрашиваю: выборы на носу, а кому править-то народом – нам не говорят. Приходят в последний момент и приказывают: мол, за того-то. А мы что ж, не люди? Своего мнения не имеем?

– Да имеешь, дядь Мотя, имеешь. Но до утра-то не мог потерпеть со своим мнением?

– Как же... Ты дрыхнуть будешь, а мне и глаз до утра не сомкнуть?!

И как-то подкупала меня эта сермяжность. Потому что не один Матвей маялся подобными вопросами. Помню, как-то Егор, когда ехали с ним на рыбалку, спросил:

– Что, опять Ельцина в президенты выбрали? Ты-то за кого голосовал?

– А я не голосую.

– Как это, – удивился Егор, – ведь кого-то же надо выбирать...

– Ну, и кого ты выбрал? – спрашиваю.

– Как кого – Зюганова.

– Это почему же?

– Так нам в сельсовете так сказали. Мол, жили-то при коммунистах раньше хорошо, вот Зюганов все и вернет обратно. А оно, видишь, как получилось, Ельцин опять править будет.

– А тебе он что, не нравится?

– А тебе? Меня так от одной морды его воротит.

– Зюганов, стало быть, краше?

– Да такая же морда, – машет рукой Егор. – Говорю же – сельсовет за него. А мы что, мы – как начальство.

А вот Матвей голосовал за Ельцина. И никак потом не мог понять: ведь столько обещал народу и ничего не сделал.

– Ты мне, Саш, объясни, – домогался он, – у них вообще там совесть-то есть у кого-нибудь? Чего ж они нас как липку-то обдирают. Ведь ты же помнишь, какой колхоз у нас был. На всю страну гремел. А ноне-то че осталось? Ни скотины, ни посевов нормальных. А с конюшней что, сволочи, сделали? Правда-то наступит когда или нет?

Вот и ответь ему. Так только – вздохнешь, сопереживаючи. Да и кто вообще ответит на эти вопросы?..

К осени занедужил Матвей и подался к дочери в город. Да только зиму там и пробыл. Не могу, говорит, в городе, задыхаюсь. Да и дома, в деревне, особого заделья тоже нет. Ни скотины, ни птицы. Так – двор подмести... Затосковал Матвей да опять к бутылочке припал. Только ненадолго. Где-то в сентябре наведалься я в деревню – опять пошли. А речка мне первым делом и сообщает: помер, мол, Матвей-то. То ли выпивкой отравился, как многие мужики, то ли от тоски. Случается с людьми в деревне и то, и другое...

И ведь что интересно: и мужики, и бабы знают, что можно выпить вечером так, что утром не проснуться. Но ведь как бывает – магазин уже закрыт, а душа требует «продолжения банкета». Все торговые точки на дому известны. У кого самогон – идет подороже, у кого привезенное из города пойло – подешевле. Пьют все подряд. А о том, что мужики умирают чаще стали, никто как-то и не задумывается. Похоронят, помянут – и опять все по-старому.

Как-то занесло мне ветром за калитку красивую этикетку: «РОЯЛ-ЛЮКС». Шрифтом помельче – «предназначен для защиты от обледенения и удаления льда со стекол, зеркал, фар автомобилей... Не подлежит обязательной сертификации. Использовать строго по назначению». А что еще нужно предприимчивым дельцам?! Стоит копейки, а градусы – убойные. Развели водичкой, добавили фруктовой эссенции, чтобы перебить запах технического спирта, и – гуляй отравы по деревням. Взял на пробу в ближайшей «торговой точке» этой жидкости, предлагаемой направо и налево, отдал через знакомых в ГУВД на анализ. Ответ получил удручающий: «Может вызвать отравление вплоть до летального исхода...» Рассказал об этом мужикам в деревне, а те только рукой махнули: а, все равно, мол, одна канитель... И как до них достучаться?!

IX

Взять того же Петра Куренова. Появился он в деревне неожиданно. Но так, что никто этого и не заметил – будто всю жизнь здесь прожил. Пристроился трактористом, быстро со всеми перезнакомился и, чтобы не ошиваться по углам, которые снимал поначалу, сразу и, показалось, всерьез положил глаз на Полину, продавщицу сельмага. До него к ней многие из местных мужиков – и холостых, и женатых – подкатывались, хотя та и с ребенком уже была. Кто просто так, время провести, а кто и всерьез. Но она всех отшивала, будучи обманутой городским ухажером. А Петру вдруг как-то сразу доверилась. Зажили вроде хорошо. И года не прошло – два события отметили в один день: и дочь родилась, и мотоцикл купили. Праздник если и не для всей деревни, то уж для всех ближайших соседей – точно.

Вот тогда-то Петр и проявил себя во всей красе. Сначала с каждым чокался за дочь, потом – тоже с каждым – за мотоцикл. А потом разогнал всех к такой-то матери... Утром ходил, опустив голову, извинялся: мол, бес попутал. А в деревне это и не в диковинку. Особенно для мужиков – лишь бы похмелиться дал. А ему что – жалко?! Опять всех напоил, а потом снова всех разогнал. Правда, и самому досталось. Глаза от синяков заплыли, но праздник продолжался. В общем, неделю гулеванили пополам с работой. А потом Полина вернулась с дочерью домой из райцентра. Мать ей все и рассказала... Полина так мужа шуганула, что тот на три месяца пропал. А потом вернулся – будто ничего и не было.

Как все происходило на самом деле, я не знаю. Но соседи не раз пересказывали мне эту историю, так что в ее правдивости сомневаться не приходится. Тем более уже спустя годы, я не раз и сам в этом убеждался. Вот не пьет мужик – просто золото. И на работе почет, и в доме хозяин. Но как шлея под хвост попадет – хоть святых выноси. Никому покою не давал. Однажды, разгулявшись и не найдя лишней капли в доме, раскидав всех, кто его удерживал (а кто – жена да теща, да тот же Егор, живший через дорогу), сломал замок на деревянном гараже, выкатил мотоцикл и рванул на нем в поисках чего-нибудь выпить. Но – как рванул, так и нарвался. Первый же столб разделил его мотоцикл пополам: Петр с двумя колесами поехал налево, а коляска – направо. Дальше пошел пешком, но то, что искал, нашел и домой принес. Да только на полстакана его и хватило – уснул, как убитый. И Полина опять его выгнала.

В этот раз он полгода где-то пропадал. Потом вернулся. И не пешком, на «Москвиче» приехал. Вот, говорит Полине, теперь заживем, это тебе не мотоцикл с люлькой. А Полине – куда? Тут вся улица ахнула. Но через месяц и от «Москвича» осталась груда металлолома...

Года два назад приезжаю – чувствую, кого-то из соседей не хватает. Потом дошло – что-то Петра не видно опять. Прежде-то, бывало, почти каждое утро на речке его встречаешь: пойдёт раненко, «морды» расставит, а потом уже по хозяйству убирается. Днем сбегает, проверит: вот тебе рыба – и на уху, и кошке на прокорм. А с удочкой сидеть не любил. Баловство, мол, одно, да и времени нет.

Куда Петр-то запропал, спрашиваю у соседки. Да бабу себе в деревне за речкой приглядел, отвечает. Так с октября, почитай, и живет у нее. А что, говорит, молодая вдова – не чета Полине. Ну, думаю, дает Петр. Да только он этим же летом опять домой вернулся. И не пешком – на «Жигулях». Причем – на собственных. Ну, вот умеет мужик: из грязи – и в князи. И работает в полную силу, и пьет немерной чаркой. Но трудозатраты водку все-таки перевешивают.

Вот так и живут Куреновы вместе уже тридцать с лишним лет. Уже и внуки на крыло встают, а Петр все куролесит. Бывает, когда его из дома в очередной раз выгоняют, уже и по году не возвращается. А потом опять – как ни в чем не бывало – домой приходит. Будто с работы вернулся. И ведь принимают! Вот и разгадай эту загадку...

X

Как-то вечером, когда я, обливаясь потом, стаскивал вилами выданные женой с огорода сорняки на компост, с другой стороны сетки-рабицы прозвучало:

– Слышь-ка, Сань, отдохнул бы маленко. Я вот посоветоваться пришла.

Зинаида Михайловна поселилась здесь лет пять назад, купив домик почти на самом краю деревни. Приживалась долго и тяжело в силу своих, как сразу же отметили соседи, странностей. Кто она и откуда – не рассказывала. Дочь, которая к ней иногда приезжала, вообще ни с кем разговоров не заводила. Даже как звать ее, никто и не поинтересовался – чего ж набиваться, коль гордая такая. И Михаловна, как окрестили приезжую, тоже в подробности не вдавалась. Хотя была, казалось, нараспашку вся. Лясы точила с каждым, но ни о себе, ни о семье – ни слова. Да и ладно, решили соседи, захочет – расскажет, чего зря в душу-то человеку лезть.

И Михаловна приняла эту игру. Распросами да разговорами донимала всех и каждого, вот только бы ее саму ни о чем не спрашивали. А так – копалась в огороде, завела скотинку. Странную, опять же, по деревенским меркам – двух поросят и козла.

Вот из-за этого козла она и затеяла разговор со мной.

– Хочу, Сань, в свидетели тебя позвать.

– Это куда еще? – спрашиваю.

– Так в суд... На соседа своего, Митрича, жалобу подала.

– По поводу чего?

– По поводу кастрации...

– Его что, кастрировали?

– Да почто его-то? Это он моего козла кастрировал. Намолат веревку на рога да свел в ветлечебницу.

И она рассказала всю предысторию той беды, что с ее козлом приключилась. Пока я ее пересказывать не буду. Чуть попозже... В деревне-то об этой истории знали и только посмеивались над Михаловной, но в свидетели никто не шел. Вот она ко мне, как к последней инстанции, и обратилась: выручай, мол. Да как же, говорю, я тебя выручать-то стану, если козла твоего и в глаза не видел. Да и Митрич мужик степенный, просто так никого кастрировать не станет.

– Ка-как же, не станет, изверг. Вот взял и кастрировал. А козел-то мой, почитай, всех деревенских коз огуливал. Я ведь еще когда его покупала, мне сказали, что он породистый, мол, и плодovitый. Так оно и вышло. Ни козы не жаловались, ни их хозяева. Меня молочком козьим по сию пору благодарят.

– Да коз-то в деревне осталось – по пальцам пересчитать можно.

– Так вот и я говорю: мой-то для них последней опорой и был. Ведь Митрич его никак не заменит... А теперь их племя и вовсе повымрет. Кому польза-то?! Вот я Митричу и сказала: коль лишил меня с козлом радости, возвращай издержки. А он меня со двора попер матом. Хотя такой ущерб причинил! Теперь в суде пусть решают, кто из нас прав. Так пойдешь в свидетели или нет?

В свидетели я не пошел... Как, впрочем, и к Митричу, который на следующий день явился ко мне с точно такой же просьбой. Хотя доводы его мне показались более убедительными. Но в суд, как и многие деревенские, ради любопытства явился. Вот где правда жизни-то разыгралась! Куда там – придуманные деревенские байки...

Роли были такие: Михаловна – истец, а Митрич, соответственно, ответчик. Ну, претензии истицы, конечно, понятны. А

вот Митрич как обвиняемый без всякого адвоката такую защитную речь выстроил, что зал, надламываясь от хохота, аплодировал ему стоя. Даже судья всю подыгрывая ответчику, хотя и вынес ему все-таки обвинительный приговор. Но об этом – чуть позже.

Поначалу, выслушав доводы истицы, которые сводились в основном к известной всем фразе «а за козла ответишь», судья попросил Митрича рассказать, за что же он все-таки так наказал бедное животное? И вот что он рассказал – почти дословно:

– Ваша Честь, я ведь всю жизнь в деревне прожил и к любой скотинке со всем моим уважением относился. В том числе и к козлам. Но Михаловна-то настоящего маньяка пригрела. Ейный козел, в силу того, что коз ему не хватало, стал топорщиться на все, что движется. Женщины его бояться стали. Я поначалу не верил – врут, думаю, бабы. Пока однажды эта скотина на мою жену глаз не положил. Вбегае она в дом – бледная, как мел, и орет: он меня чуть не изнасиловал!.. Я-то сразу на соседа подумал – он сколько раз, кобель, жену мою своим похотливым взглядом оглаживал. Я к нему иной раз с кулаками... А он смеется: не-е, Митрич, не дошло еще у нас. Но за бабой своей поглядывай. Вот я и не доглядел. Утром жена вышла в огород, наклонилась над грядкой – тут козел и налетел! Выходит, зря я прежде другим бабам не верил, что тот их домогается. Ну, а как жены коснулось, замотал ему рога – и к ветеринару.

Вроде и прав Митрич, и судья в душе на его стороне, но все-таки пальцем в букву закона тычет: нельзя, мол, проявлять самоуправство и наносить вред чужому имуществу. И иск Михаловны полностью удовлетворил, хотя и посоветовал ей впредь держать козла на привязи. Да на кой ляд-то, отвечает Михаловна, если он уже кастрирован? А на тот ляд, смеется судья, если он своему обидчику отомстить захочет. Рога-то у козла остались...

А Митрич в своем последнем слове сказал:

– Да хрен с ними, с деньгами, заплачу. Но если она еще одного козла заведет – и его кастрирую. Нечего маньяков в деревне разводить.

XI

Если с козлами и случился в деревне дефицит, то собак и кошек здесь со временем не уменьшается. Но что интересно: бродячей, как в городе, живности нет. Вроде все при дворе, при хозяевах. Только одни эту животину кормят, а другие просто терпят. У того же Егора сразу три со-

баки было, а кошек вообще никто не считал. Хоть и топили почти каждый новый выводок, а одного, почему-то, все равно на развод оставляли. Вот и расплодилось их немеряно. И ведь всех кормить надо! Это по телевизору все навязывают: кискам – «Вискас», собакам – «Чаппи». Конечно, дай деревенской живности такую кормежку, они бы вместе с упаковкой спали. Пошел я как-то угостить соседских ребятишек фаршированными мясом блинчиками, положил их в полиэтиленовый мешочек. Прохожу мимо Бима – вечно голодного пса, так он у меня на ходу этот мешок вырвал и заглотив со всем содержимым. Не блинов было жалко, а псину – как переварит-то? Ничего, переварил, рад был бы и еще порцию получить.

А Егору дочь постоянно еще и из города собак доставляла. Взяли себе дога, а справиться с ним – никак. Ребятишки еще маленькие были, а сами на работе каждый день допоздна. Вот и сплывали пса в деревню. Дик, так его звали, только лето одно да зиму там и пожил. Есть-то ему надо было много да сытно, а на голой воде с крупой долго ли протянешь?! Вот и сгинул Дик, едва я успел с ним подружиться.

Года не прошло, Татьяна себе нового сторожа домой привела – Джима. На собаку он походил только внешне, а так – особь неизвестного происхождения, чуть не с теленка ростом. Татьяна, когда поняла, что будет работать только на прокорм Джиму, тут же сплывала его отцу. А он там что – свежим воздухом питаться должен? Я когда по весне этого зверя увидел, спросил Егора: ты чем его кормишь-то? Да чем, отвечает, что свиньям даю, то и ему. Как Джим два года протянул на таких харчах – ума не приложу. Я для него отдельную кастрюлю завел, кости из города возил, с собственного стола все, что оставалось, сгребал, а ему все – как слону дробина. Чужал меня за версту. Только с автобуса к калитке подходишь – он уже висит на заборе и воет на одной ноте. Но что странно – сначала облапает тебя все-го (рост-то, когда встанет на задние лапы, далеко за два метра) да оближет, а уж потом за принесенный гостинец принимается. Друзьями стали с Джимом – неразлейвода. На рыбалку ли иду, в лес ли за грибами, он цепь как веревку скручивает и просит, высунув язык: возьми меня с собой. И взял бы, да Егор не разрешал. Нечего, мол, собаку баловать. А какое баловство-то! Хоть какую-то волю Джим бы почувствовал. А на цепи навоз месить в пригоне – хуже каторги. На третье лето Джим меня не дождался. Помер...

Зато Бим, бродяга, сопровождал меня везде. Даже если я вброд переходил речку, он мужественно плыл рядом. И когда оказывался на другом берегу, выжимая из себя, как из выстиранного белья, воду, тут же оглашал всю округу веселым лаем: сво-бо-да! Мелкую рыбешку, что я вылавливал, он уплетал за милую душу. На ту, что покрупнее плескалась в ведре, косился, конечно, но не самовольничал и в краже ни разу замечен не был. Нравились ему и походы за грибами. Пока я выискивал их в высокой траве, он куда-то надолго исчезал, но вертался по первому зову. В общем, жили мы с ним душа в душу. Ночами он часто срывался с цепи, перемахивал через забор и, как верный друг и сторож, располагался на веранде у самой двери и караулил мой дачный «курятник». А потом соседка отвезла его к своей сестре в город. Причина все та же – не смогла прокормить. Перед самым отъездом, как она рассказывала, Бим опять сиганул через забор и долго скулил у дверей дачи, прощаясь со мной навсегда...

О кошках – вообще отдельный разговор. Абсолютно непонятным образом они прознавали, что я возвращаюсь с рыбалки, и караулили: на столбах вдоль забора, на колесе от «Беларуса» с водой, вцементированном возле «курятника», а старожилы на правах старых знакомых занимали место под кустом сирени прямо у порога или вообще усаживались на веранде. Клев в прежние времена был отменный, поэтому вся мелочевка шла кошкам, не говоря уже об отходах после чистки рыбы. И все равно кошки оставались голодными, особенно – молодые, которых старожилы практически не допускали к еде. И вот однажды поутру небольшой черный котенок увязался за мной на рыбалку. Я ему человеческим языком объяснял, что это далекая и трудная работа и что я обязательно покормлю его отдельно от всех, когда приду с уловом. Но он упорно бежал за мной, исходя криком, сначала по пыльной дороге, потом с трудом пробираясь сквозь высокие заросли травы. Куда же ты, говорю, заблудишься, дурачишка. Добрались до берега, я размотал удочку, сел на камень, наживил червячка и только закинул, поплавок пошел ко дну. Подсек и вытащил чебачка, который ретиво дергался на крючке. Я не успел его поймать. Котенок, почуяв добычу, изогнулся в прыжке и сорвал с лески рыбешку... вместе с крючком. И тут же, урча, схрумкал. И опять, как в истории с Бимом, я расстроился – крючок-то он тоже съел. Помрет, думаю. Домой пошли вместе, потому что запасных крючков я с собой не взял. Часа через три прихожу с

довольно приличным уловом, а котенок, уже на правах закадычного друга, сидит, как ни в чем не бывало, на крыльце в ожидании очередного угощения.

Если уж людям все тяжелее становится жить в деревне, то уж животинке-то домашней и подавно. Прежде, помнится, у тех же Егора с Катериной на столе всегда и мясо было, и молоко, и сметана. Да и то – трех коров держали, свиней, овец, кур да гусей. И сами хорошо питались, и на базаре было что продать, и требухи всегда много было. Собаки, объевшись, лениво перебрехивались. Сытые кошки, в полприщур глядя на мир, дремали на завалинке. Почитай, вся деревня в ту пору так жила – без особых избытков, но в достатке.

И вдруг сразу две беды на село свалилось – разруха и старость. Первая лишила работы, съела все запасы. Вторая одолевала различной хворью. Молодежь подалась в город, а старики стали забывать скотину: и содержать не под силу, и кормиться надо. Сегодня тех, у кого коровы или свиньи остались, можно по пальцам пересчитать...

XII

Минувший август на редкость порадовал своим плодородием. И ягодами, и грибами одарил. Калина просто истекала соком, самая маленькая гроздь – величиной с ладонь. Боярышник, которого долгие годы и не видно было почти, вдруг тоже принарядился, выставляя напоказ ягодные ожерелья. Горькая рябина – и та выжала из земли все сладкие соки, лишь бы понравиться.

Белые грибы были видны, как солдаты на плацу, и казалось, сами выстраивались вдоль корзин, готовясь к дальнему походу. Лисички огромными семьями грелись на солнце. Даже грузди, которые вечно играют с грибниками в прятки, повазились наружу. А уж опять – ну как дети – водили хороводы чуть ли ни у каждого пенька.

И разнотравье дурманило так, что голова кружилась...

Вот и еще одно лето прошло. Уж и не считаю, какое по счету. В день отъезда пошел повидаться с Чонкой. Она, конечно, знает, что зима скоро скует льдом ее норовистый характер, заставит притихнуть на время. Но это не беда. Она и подо льдом свой характер не растеряет. Переломит по весне оковы, перемелет их в себе и понесется, смеясь, в весеннем разливе – навстречу людям.

И я, милая Чонка, с тобой не прощаюсь. Просто пришел сказать тебе: до свидания, до следующей весны...